

Хвала вам, девяти Каменам

Она была женщина мысли
и женщина
впечатлительная ко всем
явлениям жизни.

Формулируя это одним словом,
она была женщина
развита я...

Петр Лавров

Слово о Софье Ковалевской



гр. Е. Ростопчина



Е. Тур



А. Бунина

«То лирный звук, то женский вздох...»

О русских писательницах XIX века

Если прав Пушкин, и «нет истины, где нет любви», то там, где нет любви, нет и искусства. Истина, открывающаяся русской культуре, может быть, только в том и состоит, что всякая жизнь, всякое искусство не имеют смысла сами по себе и оправдываются лишь как градус, степень, ступенька любви, вышшая правда которой, по мысли Пушкина, состоит в простом и деятельном сочувствии, в том «колокольчике», который оглашает в редкие минуты судьбу человека присутствием в ней судьбы другого и открывает в ней перспективу бесконечного движения от одиночества к слиянию всего и всех в этом мире.

Сказать о русских писательницах XIX века — а их было много, талантливых и просто одаренных, — что они «сыграли большую роль» в истории русской литературы, было бы неправдой, скорее обидной, чем лестной для женщины. Говорить об «исключительных натурах» среди русских писательниц почти означало бы забыть о том действительно исключительном значении, которое имела женщина в судьбе народа русского, в его поиске правды и спасения человека. Никак не вместить нам мысль Пушкина, так возвысившего свою не наделенную ничем исключительным Татьяну, и мысль Толстого, возвысившего Наташу и Платона Каратаева, эту добытую ценой таких жертв мысль о красоте и величии как производных «простоты, добра и правды»!

Для русской литературы XIX века женщина значила больше всего как внутренний источник и предмет художественного познания, почти искомое этой литературы. В духе реалистической традиции отказываясь от воплощенного идеала, она именно в женском образе прозревала и с женским образом связала путь смирения, прощения и жертвенной любви. Что же касается личного вклада женщин в русскую словесность, то для нее она сделала неизмеримо больше как жена писателя, нежели как писатель.

Но даже в судьбе русских писательниц, самым смыслом их творчества, призвание литератора, как правило, было строго подчинено более широкому, человеческому призванию — призванию женщины. И чем ярче проявлялась в литературном творчестве личность, тем очевиднее была эта зависимость. В литературе XIX века эта особен-

ность выразилась в наиболее ярких фигурах — Е. Р. Дашковой, Е. П. Ростопчиной, К. К. Павловой.

«Какая женщина! Какое сильное и богатое существование!» — сказал А. И. Герцен о Дашковой. В восемнадцать лет она — один из «архитекторов» дворцового переворота 1762 года, а вскоре — статс-дама императрицы; в тридцать девять — она директор Академии наук и чуть позже инициатор и первый президент Российской академии; в шестьдесят один — она автор ныне знаменитых «Записок», комедий и стихотворений.

В XIX веке многие русские женщины берутся за перо. В 20—30-е годы в Москве выходит «Дамский журнал» — специально на женскую аудиторию. Здесь часто рядом со стихотворениями Пушкина, Вяземского, Козлова печатаются известные и дебютирующие в литературном мире поэтессы, иногда под псевдонимами, не желающие раскрывать своих имен. Москва вообще славится в это время как центр наиболее оживленной литературной жизни. Ее вдохновительницами, ее внутренним «нервом», как правило, были женщины, организаторы литературных салонов. Известнейшие из них — салон Авдотьи Петровны Елагиной, по воскресеньям в ее доме у Красных ворот; литературная гостиная Зинаиды Александровны Волконской, этой, по словам Некрасова, «царицы московского света», собиравшей по понедельникам в своем дворце на Тверской цвет артистического и литературного мира обеих столиц. В 1840-х годах также знаменит салон К. К. Павловой и ее мужа, писателя Н. Ф. Павлова. В конце 40-х центром притяжения для литераторов был дом на Садовой-Кудринской, принадлежавший графине Е. П. Ростопчиной.

Евдокия Петровна Ростопчина обладала несомненным литературным талантом и даром поистине магнетической женственности. Это вполне проявилось в ее поэзии, до сих пор мало изученной и по достоинству не оцененной, скорее всего потому, что кажется немислимым разделить в ее судьбе женщину и поэта.

В 1858 году с умирающей сорокашестилетней Ростопчиной в Москве познакомился А. Дюма-отец. В своих путевых книжках он записал: «Она произвела на меня тягост-

ное впечатление; на ее прекрасном лице уже отражался тот особый отпечаток, который смерть налагает на свои жертвы... Разговор с очаровательною больною был увлекателен... Графиня пишет как прозой, так и стихами, не хуже наших самых прелестных женских гениев». Из письма Ф. И. Тютчева известно, что в тот вечер Дюма стоял даже перед «милейшей Додо» на коленях... Но все же больше всего поражает это замечательное сплетение оценок: «тягостное впечатление» — и вдруг «очаровательная больная», «прелестный женский гений!»

В тринадцать лет Додо Сушкова, воспитанная в духе светской барышни, начинает писать стихи, а когда ей четырнадцать — то ли в стихи ее, то ли в нее саму влюблен студент Н. П. Огарев. В 1857 году он будет вспоминать:

Я помню (годы миновали!)...
Вы были чудно хороши;
Черты лица у вас дышали
Всей юной прелестью души...
Не помню слог стихотворений
Хорош ли, нехорош ли был,
Но их свободы гордый гений
Своим наитьем освятил...

В восемнадцать лет на балу у московского генерал-губернатора князя Голицина Сушкова встречается с А. С. Пушкиным, который «так заинтересовался пылками и восторженными излияниями юной собеседницы, что провел с нею большую часть вечера». Лермонтов в 1831 году посвящает ей знаменитое стихотворение «Додо» («Умеешь ты сердца тревожить...»). Примечательно, что почти все современники так или иначе подчеркивают простоту и естественность, душевное обаяние и ясный ум юной Сушковой, которая в двадцать один год стала графиней Ростопчиной. Эта простота и откровенность Ростопчиной, очевидно, и расположила Лермонтова, который отбросил в общении с ней всякие светские условности, отнесся к ней столь дружески, как мало с кем другим. Перед роковым отъездом на Кавказ в 1841 году Лермонтов подарил Ростопчиной альбом, открыв его исполненными сочувствия и тепла стихами:

Я верю: под одной звездой
Мы были с вами рождены...

Современники высоко ценили поэтический дар Ростопчиной. «Какие глубокие аккорды в ее пении!» — писал Я. К. Грот, оком лингвиста, возможно, уловив ту сложнейшую звуковую игру слов в поэзии Ростопчиной, в XIX веке бывшую доступной разве что Пушкину.

Эти «аккорды» способны выражать в стихотворениях Ростопчиной особый, созвучный природе эмоциональный строй души:

Дышать всей негою дней летних или вешних,
Укрыться в зелени под листою густой,
Ленясь, блаженствуя, лежать в траве сырой,
Под песнью птиц лесных, под шум гармоний внешних...

Звуковое движение такой мощи было подвластно лишь редким поэтам XX века. Женщина высшего света, обретшая в бале родную стихию, находящая в нем утешение от дум, Ростопчина, не щадя звуковых красок, живописует сцены бала:

А газ горит. А музыка гремит.
А бал блестит всей пышностью своею...

Стихи насыщаются подробностями, которые так влекут Ростопчину и как женщину, и как поэта. Вот женщина после бала:

Ее рассыпалась коса,
И в мягких кольцах волоса
Вокруг кистей, шнурков шелковых
Причудливо сплелись, — с плечей
Упала на пол шаль, — на ней,
Близ тувель бархатных, пунцовых,
Лежит расстегнутый браслет, —
И банта радужного нет
В прозрачных складках пеньюара...

Философское осмысление бала, характерное для русской поэзии первой половины XIX века, получает в стихах склонной к самоанализу Ростопчиной необычное развитие. Для изображения «темной» стороны бала поэт прибегает к словесной инструментровке:

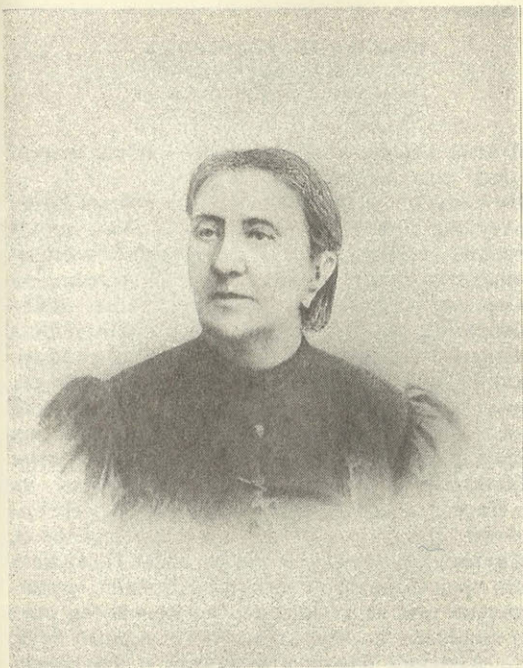
Зачем меня манит безумное разгулье,
И диких сходбищ рев, и грубый хохот их?..

Ростопчина с горечью сознает:

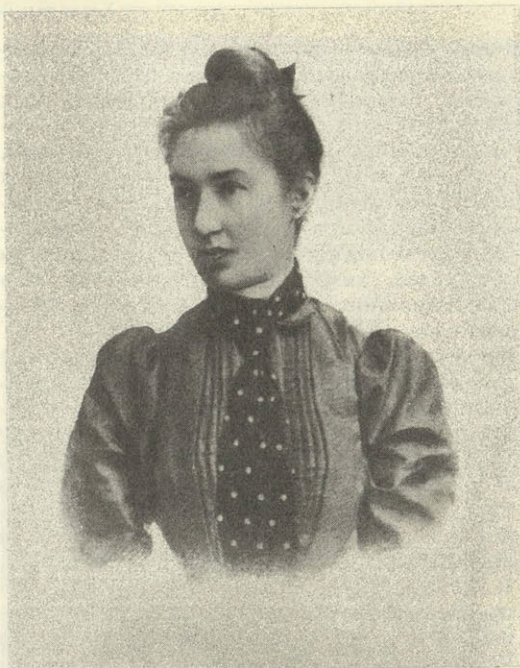
Нас, женщин, соблазняет мода:
У нас кружится голова;
Тягло работало два года,
Чтоб заплатить нам кружева;
Мы носим на оборке бальной
Оброк пяти, шести семей...

Гражданские чувства вообще значат в поэзии и в жизни Ростопчиной не меньше, чем значили в жизни Е. Р. Дашковой. Однако Ростопчина несколько иначе понимает свое призвание: «Я — женщина, — пишет она, — и многое политическое и дипломатическое мне всегда останется чуждым».

Писатель, переводчик Н. В. Берг, приглашая А. Н. Островского посетить московский литературный салон Е. П. Ростопчиной, писал ему: «Приезжайте, пожалуйста; она женщина очень добрая и милая и желает блага русским и России. В ней чрезвычайно много какой-то очаровательной простоты и естественности; графиня она после всего, а прежде — она добрая русская барыня, исполненная европейского изящества и ума». Брат ее, С. П. Сушков, вспоминал: «Евдокия Петровна далеко не была красавицею в общепринятом значении этого выражения. Она имела черты правильные и тонкие, смугловатый цвет лица, прекрасные и выразительные карие глаза, волосы черные... выражение лица чрезвычайно оживленное, подвижное, часто поэтически-вдохновенное, добродушное и приветливое; рост ее был средний, стан не отличался стройностью



М. Цебрикова



Л. Микулич



Е. Апрелева (Е. Ардов)



Т. Щепкина-Куперник

форм. Она... была привлекательна, симпатична и нравилась не столько своею наружностью, сколько приятностью умственных качеств. Одаренная щедро от природы поэтическим воображением, веселым остроумием, необыкновенной памятью, при обширной начитанности на пяти языках... замечательным даром блестящего разговора и просто-сердечною прямою характера при полном отсутствии хитрости и притворства, она естественно нравилась всем людям интеллигентным».

Не в полной мере признавая поэтическое дарование Ростопчиной, некоторые современники все же относились к ее стихам с искренним восхищением. Так, в 1840 году П. А. Плетнев писал в письме к Я. К. Гроту: «Она, без сомнения, первый поэт теперь на Руси». Однако в таких отзывах порой заметно, что к очарованию от поэзии Ростопчиной примешивается очарование иного рода. П. Я. Чаадаев говорил о поэтессе: «...Улыбка прекрасной женщины, гениальной женщины». В. А. Жуковский в 1838 году послал Ростопчиной в дар так и не начатую Пушкиным тетрадь для стихов и сопроводил подарок словами: «Вы дополните и докончите эту книгу его. Она теперь достигла своего настоящего назначения».

Ростопчина, к ее чести, была чужда сомнений. Конечно, она была женщина, ей льстила похвала, но она была воистину поэтом. И она находила силы честно сказать в ответ:

Но не исполнить мне такого назначения,
Но не достигнуть мне желанной вышины!
Не все источники живого песнопенья,
Не все предметы мне доступны и даны...

Не было и тени кокетства в том, что Ростопчина писала В. Ф. Одоевскому: «Мне очень обидно, если вы можете полагать, что я сама много думаю о своих стихах и дорожу своими выражениями: это тщеславие далеко от моего образа мыслей».

Отрицательные последствия поклонения мужчин-литераторов она с грустью сознавала в 50-е годы, когда в обновляющемся литературном мире она чувствовала себя все более одиноко: «Меня немного понимали, немного уважали и, если можно, много любили!» Западники были ей чужды, славянофилы пугали своей «напыщенностью», она стремилась сохранить верность собственному литературному пути, обрести, по ее словам, «широкую благодать настоящей веры, коей признак есть терпимость и любовь, а не хула и анафема». В эти годы Ростопчина создает одно из своих самых значительных патриотических стихотворений, оплакивая жертвы Крымской кампании и гибель Андрея Николаевича Карамзина (сына историка), отца двух ее внебрачных дочерей:

Мир вам, отечества сыны!..
Внемли, о Боже, их моления,
Пусть эти жертвы примиренья
Нам будут свыше сочтены!

Пусть луч их славы неземной
Блестит зарей нам беззакатной,
Пусть наши слезы благодатной
На Русь ниспошлются росой!..

В этом гимне, в этом плаче — «Ярославнин голос слышится...»

Не остается Ростопчина и в стороне от литературной полемики 50-х годов. Но как удивительно по-женски, как болезненно воспринимает она покушения на ее первенство на «женском» Парнасе. Она, по меткому замечанию В. Ф. Ходасевича, «наивно выделяла женскую литературу из литературы вообще, как и поэзии, точно на балу, соперничала она прежде всего с женщинами». Так, негодую на тогдашние литературные нравы, она писала М. П. Погодину: «Первый задел меня Белинский... Меня принесли в жертву на алтаре, воздвигнутом... г-же Ган... Потом меня уничтожали в пользу Павловой, Сальяс, наконец — Хвоцинской». И, кажется, прав Ходасевич: в таких условиях «решительно она не понимала, где кончается свет и начинается литература». «То лирный звук, то женский вздох...» — сказал о Ростопчиной в своем трепетном стихотворном послании к ней Ф. И. Тютчев.

Но все же, до конца оставаясь женщиной, Е. П. Ростопчина до последних дней жизни своей отстаивала честь и высокое назначение русской поэзии; и «лирный звук» обретал тогда полную силу:

Пусть храм твой смертными покинут,
Пусть твой тренажник опрокинут,
Но староверкой прежних дней
Тебя, в восторге убеждений,
О, мать высоких песнопений,
Я песнью чествую своей!

На «женском Парнасе» Ростопчину сменила Каролина Павлова. Нередко сравнивали этих поэтесс, но чаще противопоставляли. Ростопчину природа наделила известной привлекательностью, обаянием, даром душевной откровенности... Менее привлекательная наружно, Каролина Павлова жила как бы в трагическом напряжении, ревниво охраняя свой внутренний мир, свою раннюю душу. Не женскими чарами, а доступным лишь проникновенному душевному взору внутренним светом привлекала она знакомых.

Поэтесса родилась в семье обрусевшего немца, профессора физики и химии Карла Ивановича Яниша. По складу души ее больше тянуло к славянофилам, заставляло до боли переживать за судьбу России, преклоняться перед ее святынями. Она гордо считала себя «москвитянкой», ревниво и язвительно упрекала «сует рабыню» Ростопчину за измену московской простоте ради «шумной доли» Петербурга и «чужбины»:

Красавица и жорж-зандистка,
Вам петь не для Москвы-реки...

В юности Каролина овладела шестью европейскими языками (и впоследствии занима-



С. Смирнова



З. Гиппиус



М. Крестовская



М. Лохвицкая

лась с Мицкевичем польским), переводила, хорошо разбиралась в науках и рисовала. Дисциплина внутреннего труда, рано развившаяся способность разумно управлять собой отличали ее характер.

В девятнадцать лет Каролина Яниш, принятая в салонах Елагиной и Волконской, обратила на себя внимание Баратынского, Языкова, Вяземского, Пушкина... Но главная в ее судьбе встреча окончилась драмой. В салоне Волконской Каролина Яниш познакомилась с Адамом Мицкевичем, который 10 ноября 1827 года сделал ей предложение. Дав согласие, Каролина, однако, была принуждена покориться воле отца, а еще более — дяди, который угрожал отказать ей в богатом наследстве...

Потеряв любовь и привязанность Мицкевича, Каролина Яниш черпала силы в литературном труде. Стихи ее стали гармоничнее, слова более точными и простыми, а лирическая мысль сжалась, как пружина.

Воет ветер в степи огромной,
И валится снег.
Там идет дорогой темной
Бедный человек.

В сердце радостная вера
Средь кручины злой,
И нависли тяжко, серо
Тучи над землей.

Мысли поэтессы в это время исполнены чаяния узнать «Горьких мук благословенье, Жертв высоких благодать». Тоска по утраченному томит ее, но «Что умом тогда владело, Тем владеет ум».

В 1837 году, считаясь уже независимой богатой невестой, Каролина Яниш решает построить «семью литераторов». Она выходит замуж за писателя Н. Ф. Павлова, нелюбимого и не любящего ее, явно по расчету вступающего в брак. В их доме немедленно открылся литературный салон. Супруги Павловы так и не ужились и расстались в 1853 году, что повлекло слишком много «непоэтического»...

Каролина Павлова бежит от Москвы. Сначала в Дерпт, а в 1856 году еще дальше от России — в Германию.

Закат ее жизни был долгим. Она много переводила, она чувствовала, что за границей «чужда и людям, и местам», но все же молила: «Не дай опять мне те же видеть сны!» «Тихий труд» и «смирненное дело» стали в эти годы смыслом ее существования. Свои поздние думы она посвятила России, где уже стали забывать о былой славе «княгини русского стиха».

О былом, о погибшем, о старом
Мысль немая душе тяжела;
Много в жизни я встретила зла,
Много чувств я истратила даром,
Много жертв невпапад принесла.

Каролина Павлова умерла в местечке близ Дрездена в 1893 году, прожив 85 лет. Ро-

дившись при жизни Е. Р. Дашковой, она дожила до рождения А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой.

Что значит для русской литературы писатель, поэт? Кто поэт? Граф Хвостов с его «бессмертными стихами» или, скорее, Евгений в «Медном всаднике», «размечтавшийся как поэт» о семейном счастье? В ком больше истинной поэзии — в Ленском, засыпающем перед дуэлью «на модном слове идеал», или в Татьяне, не написавшей ни одной строчки, но понявшей не только книги Онегина, но через них — и его самого?

Существо поэзии вне литературы. Точка отсчета истинной поэтического — даже не в самой Татьяне, а в том Окне, которое соединяет Дом с внешним миром. «И у окна Сидит она... и все она!» И русская женщина вообще никогда бы не стала писательницей (ей хватало бы домашних дел), если бы наша литература требовала от писателя в основном литературности, если бы она была в каком-то смысле не литературой вовсе — но судьбой. Воплощенную в слове судьбу — вот что несли писательницы в нашу судьбу-литературу. «...Как я была гувернанткой и сиделкой своих детей, — вспоминала Е. Р. Дашкова о трудных временах, — я хотела быть и хорошей управительницей имений, и меня не пугали никакие лишения». Подобно тому она стала и писательницей.

* * *

...В день дуэли Пушкин (совсем не так, как поэт Ленский) занимался текущими литературными делами. Его последним адресатом стала детская писательница А. О. Ишимова. Это очень показательно. Пушкин считал, что в русской литературе, читаемой детьми, должен звучать и голос женщины-матери. Ими и были среди литераторов прошлого века, кроме прозаика и издателя детских журналов А. О. Ишимовой, А. П. Зонтаг, создавшая замечательную «Священную историю для детей», А. И. Ярцова, Е. Ф. Тютчева, позже поэтессы — М. Моравская, Н. Крандиевская. Можно сказать, что в «женской литературе» прошлого века были и женщины-невесты, поддерживавшие пламя стихотворения-романса (Е. Тимашева, Н. и С. Тепловы, М. Лисицина, Ю. Жадовская), и женщины-возлюбленные (М. Жукова, М. Лохвицкая). Женщиной-заступницей представляла в своей прозе Н. А. Дурова, герой войны 1812 года, чьи, по словам Пушкина, «нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным»... Чтобы прокормить семью, сорок три года для журналов работала прекрасный прозаик и переводчица Евгения Тур.

Все они, кажется, и писали-то именно потому, что умели любить.



А. Н. Мокрицкий
Перспектива галереи Эрмитажа
вдоль Висячего сада
1832—1833